

## ‘AT THE BAY’ BY KATHERINE MANSFIELD.

### RUSSIAN TRANSLATION BY NASTASSIA LEVANCHUK

#### У ЗАЛИВА.

##### Глава 1.1

Очень рано, утро. Солнце еще не взошло, и весь залив Крессэнт был скрыт под белым морским туманом. Поросшие бумом горы на горизонте заволочились. Было не видно, где они закончились и начались выгоны и бунгалы. Исчез песчаный путь и выгоны и бунгалы с другой стороны; не было белых дюн, покрытых алой травой, за ними; ничто не говорило: здесь пляж, а там—море. Выпала тяжелая роса. Синела трава. Крупные капли висели на кустах и всё не падали; серебряный, пышный той-той пони на длинных стеблях, и все ноготки и гвоздики в садах у бунгалы склонили к земле от влаги. Промокли холодные фуксии, крупные капли росы лежали на плоских листьях настурций. Казалось, будто море в темноте тихонько повернуло на берег, будто одна огромная волна зыбью, зыбью подошла—как далеко? Возможно, если б нам проснуться среди ночи, мы бы увидели большую рыбу: стукнула в окно—и снова уплыла...

Ах-аах!—звучало сонное море. Тут из кустов донесся шум мелких ручейков, которые текли быстро, весело, проскальзывали между гладких камней, прорывались в папоротниковые заводы и вновь наружу; и были брызги крупных капель на широких листьях, и что-то еще—что это было?—легкое движение и дрожь, треск ветки и затем такая тишина, что, казалось, кто-то слушает.

Рядом с заливом Крессэнт, между наваленными грудками щебня, семена, появилось стадо овец. Они сбились в кучу, маленькая, беспокойная шерстяная масса, и их тонкие, как палочки, ножки

трусили резво, как будто холод и тишина их испугали. Следом бежала старая овчарка, ее мокрые лапы покрыл песок, а нос прики к земле, но небрежно, как если б она думала о чем-то другом. А затем в каменном проходе показался сам пастух. Это был худой, прямой старик в фризовой пальто, покрытом сетью мелких капель, вельветовых штанах, подвязанных ниже колен, и мягкой шляпе с околышем: синим сложенным платком. Одна его рука была за поясом, вторая сжимала чудесно гладкий желтый посох. И пока он шел, не торопясь, он очень тихо, легко насвистывал, воздушный, далекий голос флейты звучал печально и нежно. Старый пес подпрыгнул раз или два и затем резко встал, стыдясь своей шалости, и несколько достойных шагов проделал рядом с хозяином. Овцы плыли вперед мелкими семяющими шажками; они стали блеять, и призрачные стада и гурты отвечали им из-под воды. «Бее! Беее!!!» На время они, казалось, замерли на одном месте. Там впереди тянулся песчаный путь с мелкими лужами; те же мокрые кусты по обочинам да те же темные заборы. Затем возникло нечто огромное: необъятный лохматый гигант вытянул руки. Им был большой эвкалипт у магазина миссис Стаббс, и проходя, чувствовался сильный запах эвкалипта. Тут большие лучи прожгли туман. Пастух бросил флейту; он потерял красный нос и мокрую бороду о мокрый рукав и, сощурив глаза, взглянул в направлении моря. Вставало солнце. Удивительно быстро туман редел, уносился, исчезал с пологой равнины, поднимался из буша и был таков, будто спешил убежать; большие клубы и кольца толкались, а серебристые лучи ширились.

Далекое небо—ясная, чистая синь—отражалось в лужах, и капли, скользя вдоль телеграфных столбов, загорались вспышками света. Теперь растущее, блестящее море было таким ярким, что глазам было больно смотреть на него. Пастух вытащил трубку с маленькой, как желудь, чашей из нагрудного кармана, нащупал порцию пёстрого табака, отрезал несколько стружек и набил

чашу. Это был степенный, опрятный старик. Когда он закурил, и синий дым окутал его голову, пес, наблюдая, был горд за него.

«Бее! Беее!» Овцы рассыпались веером. Едва они покинули летний лагерь, как первый из спящих перевернулся и поднял сонную голову; их крики звучали в грёзах малышей... они протягивали руки, чтобы прижать, приласкать милых сказочных шерстяных ягнят. Затем показался первый житель; им была кошка Бёрнеллов Флорри, сидящая на столбе ворот, как всегда, слишком рано, в ожидании молочницы. Увидев старую овчарку, она быстро вскочила, выгнула спину, втянула полосатую голову в плечи и, казалось, мелко задрожала от презрения. «Фу! Какое грубое, противное животное!»—сказала Флорри. Но старый пес, не глядя вверх, проковылял мимо, выбрасывая лапы туда-сюда. Лишь одно его ухо дернулось в знак того, что он заметил и счел ее глупой юной леди.

Утренний бриз рассеялся в буже, и запах листьев и сырого чернозема смешался с острым запахом моря. Распевали мириады птиц. Щегол пролетел над головой пастуха и, усевшись на кончик ветки, повернулся к солнцу, ероша перышки на грудке. Вот они прошли хижину рыбака, прошли словно обуглившуюся маленькую хижину, где молочница Лейла жила со своей старой Бабушкой.

Овцы рассыпались по желтому болоту, и Мах, овчарка, поспешил следом, согнал и направил их к круче, узкой каменной тропинке, которая вела от залива Крессент к бухте Дейлайт. «Бее! Бее!»—донесся далекий крик, когда они, спотыкаясь, шли по быстро сохнувшей дороге. Пастух убрал свою трубку, опустив ее в нагрудный карман так, что чашечка торчала наружу. И тут же вновь затянул мягкий, воздушный свист. Мах побежал вдоль выступа скалы за чем-то пахучим и вернулся назад недовольным. Затем, напирая, толкаясь, спеша, овцы прошли поворот, пастух свернул за ними и пропал из виду.

## Глава 1.2.

Через пару секунд дверь черного хода в одном бунгало открылась, и фигура в полосатом купальном костюме бросилась к выгону, взяла перелаз, ринулась по траве туссок в низину, вскарабкалась на песчаный бугор и понеслась во всю прыть по большому пористому камню, по холодной, мокрой гальке на твердый песок, блестящий как масло. Шших-шших! Шших-шших! Вода вспенилась вокруг ног Стенли Бёрнелла, когда тот вбежал, ликуя. Первый в море, как всегда! Он снова их всех побил. И он нырнул окунуть голову и шею.

«Привет, братишка! Салют, чемпион!» Бархатный голос басом пророкотал над водой.

О Господи! Черт побери! Стенли поднялся и увидел вдалеке темную голову на волнах и поднятую руку. Это был Джонатан Траут—здесь раньше него! «Славное утро!»—пропел голос.

«Да, отличное!»—кратко сказал Стенли. Какого лешего парню не сидится в своей части моря? Зачем ему понадобилось плыть именно сюда? Стенли оттолкнулся, нырнул и поплыл оверарм. Но Джонатан ему не уступал. Он догнал, гладкие черные волосы на лбу, гладкая борода.

«Вчера мне приснился странный сон!»—прокричал он.

И что ему нейдет? Эта мания поболтать несказанно раздражала Стенли. И всегда одно и то же—вечно какая-то чепуха про сон, что он видел, или какая-то странная мысль, что он понял, или какая-то чушь, что он прочел.

Стенли перевернулся на спину и работал ногами, пока не превратился в живой водяной смерч. Но даже тогда... «Мне

снилось, что я свисаю с ужасно высокого утеса, кричу кому-то внизу». С тебя станется!—подумал Стенли. Дольше терпеть он не мог. Он бросил плескаться. «Послушай, Траут,—сказал он,—я немного спешу сегодня утром».

«Ты—ЧТО?»—Джонатан так удивился—или же сделал вид,— что погрузился под воду, затем появился снова, пыхтя.

«Я лишь хочу сказать,—проговорил Стенли: у меня нет времени на-на-на дурачества. Я хочу внести ясность. Я тороплюсь. Сегодня мне нужно работать—понимаешь?»

Джонатан уплыл раньше, чем Стенли закончил. «Зачет, приятель!»—мягко произнес бас, и он скользнул меж волн, едва тронув их рябью... Чтоб тебя, парень! Испортил Стенли заплыв. Каким непрактичным идиотом нужно быть! Стенли вновь направился в море, затем так же быстро вернулся и понесся по пляжу прочь. Он чувствовал себя обманутым.

Джонатан оставался в воде чуть дольше. Он плыл, неся руки мягко, как плавники, позволяя морю баюкать свое длинное, худое тело. Забавно, но несмотря на все он любил Стенли Бёрнелла. Правда, ему иногда дьявольски хотелось подразнить его, подтрунить над ним, но в сущности он жалел парня. В стремлении Стенли превратить каждую мелочь в работу было что-то нелепое. Невольно казалось, что однажды он споткнется, и в какую он тогда сядет лужу! В этот момент огромная волна подняла Джонатана, прошла дальше и разбилась о берег с веселым звуком. Вот так чудо! И тотчас подошла вторая. Вот так и надо жить: беспечно, не сторожась, отдавая себя целиком. Он встал на ноги и пошел, увязая, к берегу, вдавливая пальцы в твердый, в складках песок. Жить легко, не сражаться с превратностями судьбы, а уступать им—вот все, что было нужно.

Вся беда была в этой борьбе. Жить—жить! И прекрасное утро, такое свежее и чистое, греясь в свете, словно улыбаясь своей красоте, будто прошептало: «Почему нет?»

Но теперь, выбравшись из воды, Джонатан посинел от холода. Все его тело ломило; похоже, как если б кто-то выжимал из него кровь. И ступая по пляжу, дрожа, мускул к мускулу, он так же подумал, что купание не удалось. Он слишком долго пробыл в воде.

### Глава 1. III.

Берил была в гостинной одна, когда появился Стенли в синем саржевом костюме с жестким воротничком и галстуком в горошек. Он выглядел почти неестественно чистым и причесанным; он собирался в город на весь день. Опускаясь на стул, он вытащил часы и положил их рядом с тарелкой.

«У меня всего двадцать пять минут»,—сказал он. «Ты могла бы пойти посмотреть насчет каши, Берил?»

«Мама ушла только что»,—ответила Берил. Она села за стол, налила ему чаю.

«Спасибо!» Стенли отпил глоток. «Эй!—сказал он удивленным тоном: ты сахар забыла».

«Ах, прости!» Но Берил все равно не положила сахару; она толкнула сахарницу к нему. Что бы это значило? Когда Стенли клал сахар в свой чай, его синие глаза расширились и будто дрогнули. Он бросил быстрый взгляд на свою свояченицу и откинулся назад.

«Ничего не случилось, ведь так?»— спросил он беззаботно, трогая воротничок.

Голова Берил была опущена; в пальцах она вертела тарелку.

«Ничего»,— прозвучал ее тихий голос. Затем и она подняла глаза и улыбнулась Стенли. «Почему что-то должно случиться?»  
«О-о! Ни единой причины, насколько я знаю. Мне показалось, ты несколько—»

Тут дверь открылась, и появились три маленькие девочки, каждая несла тарелку с кашей. Они были одеты одинаково в синие свитера и штанишки; загорелые ноги были голы, и волосы у каждой были заплетены и заколоты в то, что называлось конский хвост. За ними шла миссис Фейрфилд с подносом.

«Осторожно, дети»,— предупредила она. Но они и так шли с величайшей осторожностью. Они любили, когда им позволяли что-то пронести. «Вы сказали папе доброе утро?»

«Да, бабушка». Они расселись на лавке напротив Стенли и Берил.

«Доброе утро, Стенли!» Старая миссис Фейрфилд подала ему тарелку.

«Доброе, мама! Как мальчик?»

«Превосходно! Всего раз проснулся прошлой ночью. Какое чудесное утро!» Старушка замолчала, держа руку на буханке хлеба, и выглянула в сад через открытую дверь. Море звучало. Сквозь широко открытое окно на желтые крашенные стены и голый пол лился солнечный свет. Все на столе вспыхивало и сверкало. Старую салатницу в центре стола наполнили желтыми

и красными настурциями. Миссис Фейрфилд улыбнулась, и в ее глазах просияла искренняя радость.

«Может, все же отрежешь мне хлеба, мама»,— сказал Стенли. У меня всего двенадцать с половиной минут до кареты. Кто-нибудь отдавал мои туфли служанке?»

«Да, они готовы». Миссис Фейрфилд была весьма невозмутима.

«Ах, Кеция! Почему ты такая неряха!»— вскричала в отчаянии Берил.

«Я, тетя Берил?» Кеция уставилась на нее. Что же она теперь натворила? Она только вырыла речку посреди своей каши, заполнила ее и подъедала берега. Но она делала это каждое утро, и никто ей еще слова не сказал.

«Почему нельзя есть кашу как положено, как Изабель и Лотти?» Как несправедливы взрослые!

«А Лотти всегда строит плавучий остров, правда, Лотти?»

«Я—нет»,—едко заметила Изабель. «Я только посыпаю свою кашу сахаром, добавляю молоко и ем. Только дети играют с едой».

Стенли отодвинул стул и встал.

«Не принесешь мне те туфли, мама? И, Берил, если ты закончила, будь добра лети прямо к воротам и задержи карету. Забеги к маме, Изабель, и спроси у нее, куда дели мой котелок. Погоди минуту—дети, вы играли с моей тростью?»

«Нет, папа!»

«Но я поставил ее сюда». Стенли начал закипать. «Я ясно помню, как ставил ее в этот угол. Так, кто ее взял? Время не ждет. Смотрите в оба! Трость нужно найти». Даже Элис, служанку, привлекли к поискам. «Может, ты ее брала, чтобы ворошить ей угли в кухне?»

Стенли ворвался в спальню, где лежала Линда. «Это же непостижимо. Ничего нельзя спокойно оставить. Теперь они мою трость утащили!»

«Трость, милый? Какую трость?» Рассеянность Линды в таких случаях не может быть взаправду, решил Стенли. Неужели никто ему не посочувствует?

«Карета! Карета, Стенли!» Голос Берил прокричал у ворот.

Стенли махнул Линде рукой. «Некогда прощаться!»—крикнул он. И этим он думал наказать ее.

Он схватил котелок, выскочил из дома и полетел через сад по тропинке. Да, карета ждала его там, и Берил, перегнувшись через открытую калитку, улыбалась тому или этому, как ни в чем не бывало. Вот женское коварство! Они так привыкли к тому, что ты обязан гнуть за них спину, а сами в то же время даже не трудились присмотреть за тростью. Келли вытянул лошадей хлыстом.

«Прощай, Стенли»,—кликнула Берил, ласково и весело. Легко ей было говорить прощай! И она, ленивая, стояла перед ним, заслоняя глаза рукой. Хуже всего было то, что и Стенли пришлось крикнуть «прощай», ради приличия. Затем он увидел, как она повернулась, чуть подпрыгнула и побежала назад в дом. Она была рада его уходу!

Да, она была благодарна. В гостиную она вбежала с криком: «Он ушел!» Линда отозвалась из своей комнаты: «Берил! Стенли ушел?» Старая миссис Фейрфилд вышла, держа на руках мальчика во фланелевой курточке.

«Ушел?»

«Ушел!»

Ах, какое облегчение, как изменился дом без мужчины. Сами голоса их изменились, когда они обращались друг к другу: звучали тепло, с любовью и как будто делились секретом. Берил подошла к столу. «Выпей еще чашку чаю, мама. Он еще горячий». Ей хотелось как-то отпраздновать тот факт, что теперь они могут делать все, что пожелают. Мужчина их не побеспокоит; впереди целый чудесный день.

«Нет, спасибо, дитя мое», сказала старая миссис Фейрфилд, но при этом так встряхнула мальчика и сказала ему «а-гу-а-гу-а-га!», что сомнений не было—она чувствовала то же самое. Девочки полетели на выгон, как цыплята из курятника.

Даже Элис, служанка, моя посуду в кухне, подхватила общую заразу и расходовала драгоценную воду из бака без всякой меры.

«Ох уж эти мужчины!»—сказала она и погрузила чайник в таз, и держала его под водой даже после того, как тот перестал булькать, словно и он был мужчиной, и утопить его было мало.

#### Глава 1.4.

**«Подожди меня, Изабель! Кеция, подожди меня!»**

Это была бедняжка Лотти, которая снова отстала, потому что ей было страшно трудно самой преодолеть перелаз. Когда она встала на первую ступеньку, ее колени задрожали; она вцепилась

в столб. Потом нужно было перенести ногу. Но которую из них? Она никак не могла решить. А когда она наконец перенесла одну ногу, притопнув с отчаянным видом—ей стало страшно. Наполовину она была еще на выгоне, а наполовину—в траве туссок. Она отчаянно схватилась за столб и закричала. «Подождите меня!»

«Нет, ты не жди ее, Кеция!»—сказала Изабель. «Она такая глупышка. Всегда жалуется. Пойдем!» И она дернула Кецию за свитер. «Если пойдешь со мной, дам тебе мое ведерко»,—мило сказала она. «Оно больше твоего». Но Кеция не могла бросить Лотти одну. Она вернулась к ней. Лицо Лотти уже сильно покраснело, и она начала сопеть.

«Ну же, ставь вторую ногу»,—сказала Кеция.

«Куда?»

Лотти глянула вниз на Кецию, будто с вершины горы.

«Сюда, где моя рука». Кеция похлопала по нужному месту. «Ах, туда, говоришь!» Лотти тяжело вздохнула и перенесла вторую ногу. «А теперь—ну вроде как повернись кругом, сядь и съезжай»,—сказала Кеция.

«Но здесь не на что садиться, Кеция»,—проговорила Лотти.

Наконец она справилась, и когда все было позади, она отряхнулась и заулыбалась.

«Я все лучше лазаю по заборам, правда, Кеция?»

Лотти была большой оптимисткой.

Розовая и синяя шляпки вслед за ярко-красной шляпкой Изабель поднялись на пологий, ускользающий холм. Наверху они остановились, чтобы решить куда пойти и как следует погладить на тех, кто уже был там. Со спины, стоя на линии горизонта, часто размахивая лопатками, они казались маленькими озадаченными геологами.

Вся семья Сэмюэль Джозефов была уже там вместе с экономкой, она восседала на складном табурете и блюла порядок с помощью свистка, который носила на шее, и небольшой палки, ею она направляла действия. Дети Сэмюэль Джозефов никогда не играли одни и не заводили своих игр. А если заводили, в итоге мальчики лили воду девочкам за шиворот, или девочки пытались подложить мелких черных крабов мальчикам в карман. Потому миссис С.Джей со своей бедной экономкой каждое утро составляли то, что она называла «брограммой», чтоб детей «замять, и чтоб они не медокурили». Там были сплошь соревнования, эстафеты или групповые игры. Резкий свист свистка экономки начинал игру, со вторым свистом все прекращалось.

Были и призы: большие, грязноватые бумажные свертки, которые экономка с кислой улыбкой доставала из узкой пухлой сумки.

Сэмюэль Джозефы страшно дрались за призы и жульничали, и щипали друг друга за руки: все они отменно щипались. В тот единственный раз, что дети Бёрнеллов играли с ними, Кеция получила приз, и, развернув три слоя бумаги, она обнаружила очень маленький ржавый крючок. Она не понимала, из чего был весь сыр-бор...

Но теперь они вовсе не играли с Сэмюэль Джозефами и не ходили на их праздники. Сэмюэль Джозефы вечно устраивали детские праздники в Заливе, и еда была всегда одинаковая.

Большой умывальный таз с очень коричневым фруктовым салатом, четвертинки булочек и умывальный кувшин, полный того, что экономка называла «Лимонадёр». И домой уходили вечером с наполовину оторванной от платья оборкой, или с пятном, поставленным прямо на ажурный передник, оставляя Сэмюэль Джозефов скакать, как дикари, на своей лужайке. Нет! Они были чересчур испорчены.

На другой стороне пляжа, у самой воды два мальчика, закатав штанишки, мелькали, как паучки. Один рыл песок, второй шлепал к воде и обратно, наполняя ведро. Это были мальчики Траут, Пип и Регс.

Но Пип был так занят, копая, а Регс был так занят, помогая ему, что они не увидели своих кузин, пока те не подошли вплотную.

«Смотрите!»—сказал Пип. «Смотрите, что я нашел». И показал старый, мокрый, раздавленный башмак. Три маленькие девочки уставились на него.

«А что ты собираешься с ним делать?»—спросила Кеция.

«Хранить его, конечно!» Пип был полон презрения. «Видишь ли, это находка!»

Да, это Кеция видела. Но все же...

«Здесь в песке похоронено множество вещей»,—объяснил Пип. «Их сбрасывают с тонущих кораблей. Сокровища. Как знать—можно найти—»

«А зачем Регс льет и льет туда воду?»—спросила Лотти.

«А, это для увлажнения,—сказал Пип: чтобы работа пошла легче. Продолжай, Регс».

И добрый малыш Регс бегал взад-вперед, наливая воду, что темнела, как какао. «Эй, показать вам, что я нашел вчера?»—таинственно проговорил Пип, и воткнул свою лопатку в песок. «Обещайте не рассказывать никому».

Они обещали.

«Скажите ей-богу, не сойти мне с места».

Девочки повторили.

Пип вытащил что-то из кармана, долго тер это о свитер, затем подышал на него и снова потер.

«А теперь отвернитесь!»—приказал он. Они отвернулись.

«Все смотрите в одну сторону! Замрите! Можно!»

И рука разжалась; он поднес к свету вещь, что сверкала, мерцала самым прелестным оттенком зеленого.

«Это низумуд»,—торжественно произнес Пип.

«Пип, неужели?» Даже Изабель была поражена.

Прелестная зеленая вещица, казалось, танцевала в пальцах Пипа. Тетя Берил носила в кольце низумуд, но он был очень маленький. Этот был большим, как звезда, и не в пример красивее.

## Глава 1.5

Утро продолжалось, целые группы усеяли дюны и спустились на пляж искупаться. Так повелось, что в одиннадцать часов в море наступало время женщин и детей из летнего лагеря. Первыми раздевались женщины, натягивали купальные платя и надевали на головы ужасные шляпы, как мешки; затем расстегивали детей. Пляж был усыпан горками одежды и обуви; большие летние шляпы с камнями сверху, чтоб не унес ветер, походили на огромные панцири. Странно, но даже море шумело иначе, когда все эти тела с прыжками и смехом вбегали в волны. Старая миссис Фейрфилд, в сиреновом хлопковом платье и черной шляпе, подвязанной под подбородком, собрала и подготовила свой небольшой выводок. Мальчики Траут стащили рубашки через голову, и все пятеро умчались прочь; а бабушка сидела, опустив руку в мешочек, готовясь извлечь моток шерсти, как только убедится, что дети в воде.

Крепкие небольшие девочки робели куда больше, чем нежные, хрупкие на вид мальчики. Пип и Регс дрожали, приседали, шлепали по воде и никогда не боялись. Но хотя Изабель и проплывала двенадцать гребков, а Кеция могла проплыть почти восемь, они следовали за ними лишь при строжайшем условии их не забрызгать. Что до Лотти, она вовсе не следовала. Она любила оставаться одна и делать по-своему, умоляю.

Это означало сидеть у кромки воды, вытянув ноги, сжав колени, и слабо взмахивать руками, как будто она ждала, что ее унесет в море.

Но когда бóльшая, чем обычно, волна, как усатый старик, подкатывалась к ней, Лотти вскакивала на ноги с испуганным лицом и бежала по пляжу прочь.

«Возьми, мама, ты ведь их поддержишь?»

Два кольца и тонкая золотая цепочка упали на колени миссис Фейрфилд.

«Хорошо, милая. Но разве ты не здесь будешь купаться?»

«Н-нет»,—Берил растягивала слова, говорила уклончиво. «Я разденусь чуть дальше. Я буду купаться с миссис Гарри Кембер».

«Очень хорошо». Но миссис Фейрфилд поджала губы. Она осуждала миссис Гарри Кембер. Берил это знала.

Бедная старая мама, улыбнулась она, а сама в это время неслась по камням. Бедная старая мама! Старая! Ах, какая радость, какое счастье быть молодой...

«Ты выглядишь очень довольной»,—сказала миссис Гарри Кембер. Она сидела на камнях сгорбившись, обняв колени и курила.

«Такой чудесный день»,—произнесла Берил, улыбаясь ей.

«Ох, дорогая моя!» Голос миссис Гарри Кембер прозвучал так, будто она не поверила. Но впрочем, она всегда говорила так, будто знала собеседника лучше, чем он сам. Она была длинной, странной на вид женщиной с узкими ладонями и ступнями.

Лицо ее тоже было длинным и узким, и на вид усталым; даже ее светлая вьющаяся челка выглядела выжженной и увядшей. Она была единственной курящей женщиной в Заливе, и курила постоянно, во время разговора держа сигарету губами, и вынимала ее, только когда пепел на ней был таким длинным, что непонятно было, как он держался. Если она не играла в бридж—она играла в бридж каждый божий день—то проводила время, лежа на солнцепеке. Любая жара ей была нипочем; ей все было мало. Но солнце, казалось, ее вовсе не грело. Высохшая, увядшая, холодная, она лежала, растянувшись на камнях, как



прибитая волной коряга. Женщины в Заливе считали ее очень, очень грубой. Ее пренебрежение к себе, ее сленг, то, как она вела себя с мужчинами как мужчина, и тот факт, что ей не было дела до своего дома, и что служанку Глэдис она звала «Глазок»<sup>1</sup>—все было возмутительно. Стоя на ступеньке веранды, миссис Кембер звала своим безразличным, усталым голосом: «Слушай, Глазок, брось-ка мне платок, если он у меня есть». И Глазок с красным бантом в волосах вместо шляпки и в белых туфлях, прибежала с нахальной улыбкой. Верх неприличия! Пусть у нее не было детей, но ее муж... На этом месте всегда повышали голос; приходили в ярость. Как мог он жениться на ней? Как мог он, как он мог? Должно быть, деньги, конечно, да хоть бы и так!

Муж миссис Кембер был моложе ее, по меньшей мере, лет на десять, и так невероятно красив, что был скорее похож на маску или идеальную иллюстрацию из американского романа, чем на мужчину. Черные волосы, темно-синие глаза, красные губы, неторопливая сонная улыбка, хороший теннисист, отличный танцор, и при том—сплошь загадка. Гарри Кембер словно разгуливал во сне. Мужчины его терпеть не могли, им не удавалось вытянуть из него ни слова; жену он игнорировал так, как и она его. Как он жил? Конечно, были слухи, но какие! Их было просто невозможно передать. Его видели с такими женщинами, в таких местах... но слух всегда был непроверен, всегда ненадежен. Кое-кто из женщин в Заливе думал про себя, что однажды он дойдет до убийства. Да, даже когда они говорили с миссис Кембер и чинили жуткое тряпье, что она носила, то представляли ее, лежащую, как на пляже; но холодную, в крови, все еще с сигаретой, застрявшей в уголке рта.

Миссис Кембер встала, зевнула, расстегнула пряжку и дернула ленту на блузе. А Берил вышла из юбки, избавилась от кофты, и

<sup>1</sup> В оригинале: Glad-eyes, буквально: «веселые глазки».

оказалась в белой нижней юбочке и рубашке с бантами из лент на плечах.

«Боже милостивый,—сказала миссис Гарри Кембер: какая ты миленькая!»

«Не нужно!»—мягко произнесла Берил; но, стягивая чулки, один за другим, она почувствовала себя миленькой.

«Дорогая моя—почему же нет?»—сказала миссис Гарри Кембер, наступая на собственную нижнюю юбку. Да уж—ну у нее и белье! Пара синих хлопковых панталон и льняной лиф, который чем-то напоминал наволочку... «Ты ведь не носишь корсета?» Она коснулась талии Берил, и Берил отпрыгнула со стыдливым жеманным криком. Затем она твердо сказала: «Никогда!»

«Счастливица»,—вздохнула миссис Кембер, расстегивая свой.

Берил отвернулась и начала делать сложные движения человека, который пытается раздеться и надеть купальное платье в одно и то же время.

«Ах, дорогая—не обращай на меня внимания»,—сказала миссис Гарри Кембер. «Зачем стесняться? Я тебя не съем. Я не стану возмущаться, как те дурочки». Она странно засмеялась, будто лошадь, и скорчила гримасу другим женщинам.

Но Берил стеснялась. Она еще ни перед кем не раздевалась. Было ли это глупо? Миссис Гарри Кембер внушила ей, что это было глупо, и даже постыдно. И правда, что стесняться! Она мельком взглянула на подругу, что так смело стояла в рваной сорочке и зажигала свежую сигарету; и внезапное, сильное, недоброе чувство возникло в ее груди.

Беспечно улыбаясь, она натянула поникшее, в песке купальное платье, оказавшееся сырым, и застегнула непослушные пуговицы.

«Так-то лучше»,—сказала миссис Гарри Кембер. Они вместе пошли по пляжу. «В самом деле, грех тебе носить одежду, дорогая. Должен же кто-то тебе об этом сказать».

Вода была совсем теплой. Это была сказочная прозрачная синь в каплях серебра, но песок на дне казался золотым; если провести пальцами, поднималось облачко золотой пыли. Волны едва доставали до груди. Берил стояла, раскинув руки, смотря вдаль, и с каждой волной чуть-чуть подпрыгивала, так что казалось, будто волна мягко ее поднимала.

«Я считаю, красивые девушки должны веселиться»,—заявила миссис Гарри Кембер. «Почему нет? Не сделай ошибки, дорогая. Развлекайся». И вдруг она опрокинулась, исчезла и поплыла прочь быстро-быстро, как крыса. Затем развернулась и поплыла назад. Она собиралась сказать что-то еще. Берил чувствовала: эта холодная женщина—яд, и не могла не слушать. Но ах, как странно, как страшно! Вблизи миссис Гарри Кембер в черной непромокаемой купальной шапочке, сонное лицо над водой, лишь подбородок касался волн, казалась отвратительной карикатурой на своего мужа.

## Глава 1.6.

В парусиновом кресле под деревом мануки, что росло посреди лужайки перед домом, Линда Бёрнелл проводила утро в мечтах. Она ничего не делала. Она смотрела вверх на темные, узкие, сухие листья мануки, на щелки неба между ними, и то и дело на нее падал мелкий желтоватый цветок. Милый—да, если положить такой цветок на ладонь и присмотреться к нему, он казался совершенным созданием. Каждый бледно-желтый лепесток сиял, будто плод кропотливой работы любящих рук. Миниатюрный язычок в центре придавал ему сходство с

колокольчиком. А снаружи, если его перевернуть, он был цвета темной бронзы. Но чуть успев зацвести, цветки падали и рассеивались. Разговаривая, приходилось сметать их с платья; мелкие проказники застревали в волосах. Раз так, зачем вообще цвести? Кто мог трудиться—или забавляться—создавая все эти вещицы напрасно, напрасно... Невероятно.

Рядом с ней между двух подушек в траве лежал мальчик. Он глубоко спал, его головка отвернулась от матери. Тонкие темные волосы казались скорее тенью, чем настоящими волосами, а ушко было как чистый, глубокий коралл. Линда сплела руки над головой и скрестила ноги. Как приятно было знать, что все эти бунгало пусты, что все были там, на пляже, невидимы, неслышимы. Сад был в ее распоряжении; она была одна. Ослепительной белизной сияли гвоздики; блестели златоглазки-ноготки; настурции обвили столбики веранды зеленым и золотым пламенем. Если б было время рассмотреть эти цветы не спеша, время преодолеть чувство новизны и необычного, время их узнать!

Но как только мы задерживались, чтобы раскрыть лепестки, увидеть их обратную сторону, приходила Жизнь и уносила нас. И там, в плетеном кресле, Линде было так легко; она была как лепесток. Жизнь налетала как ветер и схватывала, и трясла ее; ей приходилось уходить. Боже, и так будет всегда? Неужели некуда бежать?

...Вот она сидит на веранде их тасманского дома, опершись на колено отца. И он обещает: «Как только мы с тобой совсем вырастем, Линни, мы вырвемся, мы куда-нибудь убежим. Мальчишки вдвоем. У меня есть мечта подняться вверх по реке в Китае». Линда ясно видела ту реку, очень широкую, усеянную мелкими плотами и лодками. Она видела желтые шляпы

лодочников и слышала, как они кричали высокими, тонкими голосами...

«Да, папа».

И тут мимо их дома медленно прошел очень крупный ярко-рыжий молодой человек и медленно, даже торжественно, снял шляпу. Папа Линды по привычке шутливо дернул ее за ухо.

«Линнин кавалер»,—прошептал он.

«Ах, папа, подумать только, быть замужем за Стенли Бёрнеллом!»

Что ж, она была его женой. И к тому же любила его. Не того Стенли, которого знали все, не будничного; но робкого, чуткого, наивного Стенли, который каждый вечер преклонял колени для молитвы и стремился быть хорошим. Стенли был честным. Если он верил в людей—как он верил в нее, например—то верил всем сердцем. Он не мог предать; он не мог солгать. И как ужасно он мучился, если думал, что кто-то—она—не была абсолютно честна, абсолютно искренна с ним! «Это слишком хитро для меня!» Он раздражался потоком слов, но его открытый, дрожащий, смущенный взгляд был, как у загнанного зверя.

Но вся беда была в том—тут Линде почти хотелось смеяться, хотя видит Бог, дело нешуточное—что своего Стенли она видела очень редко. Бывали взгляды, моменты, живые спокойные периоды, но весь остаток времени она словно жила в доме, безнадежно пристрастившемся к пожарам, на корабле, который каждый день тонул. И именно Стенли всегда был в центре урагана. Все ее время уходило на то, чтобы спасти его, приводить в себя, успокаивать и слушать его слова. А оставшееся время проходило в ужасах рождения детей.

Линда нахмурилась; она быстро выпрямилась в парусиновом

кресле и сжала щиколотки. Да, за это она действительно была в обиде на жизнь; это было выше ее разума. Этим вопросом она задавалась вновь и вновь и тщетно ждала ответа. Легко было говорить, что рожать детей—удел всех женщин. Это была неправда.

Она, к примеру, могла это опровергнуть. Роды сломали, ослабили ее, отняли ее мужество. И вдвойне тяжело ей было оттого, что она не любила своих детей. Напрасно было притворяться. Даже будь у нее силы, она никогда не стала бы нянчиться и играть с девочками. Нет, каждый страшный раз ее будто снова и снова пронизывало холодом; у нее не осталось тепла для детей. А мальчик—что ж, слава богу, мама его забрала; он был мамин, или Берил или любого, кому он был нужен. Едва ли она брала его на руки. Ей вовсе не было дела до того, что он лежал рядышком... Линда взглянула вниз.

Мальчик перевернулся. Он лежал лицом к ней и уже не спал. Темно-синие младенческие глаза были открыты; казалось, он подглядывал за матерью. И вдруг на его лице появились ямочки; оно расплылось в широкую, беззубую улыбку, точно засияло.

«Я здесь!»—казалось, говорила счастливая улыбка. «Почему ты меня не любишь?»

В этой улыбке было нечто столь странное, столь неожиданное, что Линда и сама улыбнулась. Но она спохватилась и холодно сказала малышу: «Я не люблю детей».

«Не любишь детей?» Мальчик не мог поверить. «Не любишь меня?» Он дурашливо замахал руками на мать. Линда упала с кресла на траву.

«Что ты все улыбаешься?»—сурово произнесла она. «Если бы ты знал, о чем я думала, ты бы перестал».

Но он лишь лукаво прищурил глаза и повернул голову на подушке. Он не поверил ни единому ее слову.

«Мы все об этом знаем!»—улыбнулся мальчик. Линду так поразила уверенность этого человечка... Ах нет, скажи правду. Она чувствовала не это; но нечто совершенно иное, нечто настолько новое, настолько... В ее глазах заплясали слезы; она тихо прошептала малышу: «Привет, мой милый!»

Но мальчик уже забыл о матери. Он снова стал серьезным. Что-то розовое, что-то мягкое качалось перед ним. Он протянул к нему руку, и оно немедленно исчезло. Но когда он лег, появилось другое, похожее. В этот раз он решил его поймать. Он сделал огромное усилие и перевернулся.

## Глава 1.7.

Наступил отлив; пляж опустел; теплое море лениво плескалось. Солнце жгло, сильно и яростно жгло мелкий песок, припекало серо-синюю и черную с белыми прожилками гальку. Оно выпило капельки воды, что прятались в пустотах изогнутых раковин; выбелило розовый выюнок, что там и тут пробивался сквозь дюны. Казалось, все замерло, кроме мелких рачков. Чит-чит-чит! Они никогда не умолкали.

Поодаль у обросших водорослями камней, что при отливе напоминали мохнатых зверей, спустившихся к воде напиться, кружился солнечный свет, как серебряная монета, упавшая в каждую лужицу. Они плясали, дрожали, и мелкая зыбь омывала пористые берега. Если, склонившись, присмотреться, каждая ямка была как озеро с островками розовых и синих домов по

берегам; и—ах!— за домами обширная горная страна: ущелья, перевалы, опасные реки и страшные тропы, что вели к кромке воды. Внизу качался морской лес: розовые деревья-ниточки, бархатные анемоны и оранжевые кусты с точками ягод. Вот камень на дне сдвинулся, покотился, и мелькнул черный усик; вот кто-то, как ниточка, проплыл и исчез. Что-то совершалось в розовых, машущих деревьях: они превращались в холодную лунносветную синь. И тут послышалось тишайшее «плюх». Кто это был? Что там творилось? И как сильно, как влажно пахли водоросли на жарком солнце...

Зеленые маркизы в летней колонии были опущены. На верандах, растянувшись на выгоне, накинутае на заборы, лежали обессиленные купальные платья и жесткие полосатые полотенца. Каждое окно во дворе украшала пара пляжных туфель и горка камешков на подоконнике, или ведро, или коллекция ракушек пава. Буш колыхался в жаркой дымке; песчаный путь был пуст, не считая пса Траутов Снукера, что разлегся прямо поперек его. Он возвел синий глаз к небу, неуклюже вытянул лапы и то и дело безнадежно вздыхал, как бы желая сказать, что он решил положить всему конец и только ждет, пока подъедет добрая телега.

«Куда ты смотришь, бабушка? О чем ты все думаешь и вроде как смотришь в стену?»

Кеция с бабушкой проводили сиесту вместе. Девочка, одетая в одни короткие штанишки и нижнюю сорочку, с голыми руками и ногами, лежала на взбитой подушке с кровати бабушки, а старушка в белом кружевном платье сидела у окна в кресле-качалке с длинным розовым вязанием на коленях. Их общая комната, как и прочие комнаты в бунгало, была отделана светлым крашеным деревом, пол был голый. Мебель была самая жалкая и простая. Туалетным столиком, к примеру, был ящик в муслиновой юбке с цветочным рисунком, и зеркало над ним

было очень странным: будто в нем был заперт маленький зигзаг молнии.

«Тебе грустно думать о нем, бабушка?» Ей очень не нравилось, когда бабушка грустила.

Наступил черед старушки задуматься. Было ли ей грустно? Вспоминать о давно прошедшем. Смотреть сквозь годы, как когда ее увидела Кеция. Заботиться о них по-женски, еще долго после того, как они исчезли из виду. Было ли ей грустно? Нет, такова была жизнь.

«Нет, Кеция».

«Но зачем?»—спросила Кеция. Она подняла голую руку и начала чертить пальцем в воздухе. «Зачем дядя Уильям умер? Он был не старым».

Миссис Фейрфилд начала считать петли по три. «Это просто случилось»,—произнесла она задумчивым голосом.

«Все должны умирать?»—спросила Кеция.

«Все!»

«И я?»—голос Кеции звучал робко и скептически.

«Когда-нибудь, моя милая».

«Но, бабушка». Кеция подняла левую ногу и пошевелила пальцами. Они были в песке. «Что если я просто не стану?»

Старушка снова вздохнула и вынула длинную спицу из клубка.

«Нас не спрашивают, Кеция»,—грустно сказала она. «Это случается с каждым из нас, рано или поздно».

Кеция притихла, размышляя об этом. Она не хотела умирать. Это значило, что ей пришлось бы оставить все здесь, оставить все везде, навсегда, оставить—оставить бабушку. Она быстро перевернулась.

«Бабушка»,—вскричала она испуганным голосом.

«Что, лапочка моя!»

«Ты не умрешь». Кеция была полна решимости.

«Ах, Кеция,—бабушка подняла голову, улыбнулась и покачала головой: не будем об этом говорить».

«Но ты не умрешь. Ты не можешь оставить меня. Не может быть, чтобы тебя не стало». Это было ужасно. «Обещай, что ты этого никогда не сделаешь, бабушка»,—умоляла Кеция.

Старушка занялась вязанием.

«Обещай мне! Скажи никогда!»

Но бабушка все молчала.

Кеция скатилась с кровати; она не могла дольше терпеть и легко вспрыгнула к бабушке на колени, сцепила руки вокруг шеи старушки и начала целовать ее под подбородком, за ухом и дышать ей в шею.

«Скажи никогда... скажи никогда... скажи никогда—». Она тяжело дышала между поцелуями. И затем стала, очень нежно и легко, щекотать бабушку.

«Кеция!» Старушка уронила вязание. Она откинулась на спинку кресла и стала щекотать Кецию. «Скажи никогда, скажи никогда, скажи никогда»,—лепетала Кеция, и они лежали, обнимая друг друга и смеясь. «Все, достаточно, белочка моя! Хватит, моя дикая пони!»—сказала старая миссис Фейрфилд, поправляя свой чепчик. «Подними мое вязание». Обе уже забыли, что значило «никогда».

## Глава 1.8.

Сад был еще залит солнцем, когда задняя дверь в доме Бёрнеллов с шумом закрылась, и очень яркая фигура прошла по тропинке к воротам. Ею была Элис, служанка, одетая для прогулки. На ней было белое хлопковое платье с такими большими и частыми красными пятнами, что дрожь брала, белые туфли и соломенная шляпка, по низу подшитая маками. Конечно же, на ней были перчатки, белые, с пятнышками ржавчины у застежек, и в руке она несла очень потрепанный солнечный зонтик, который называла «пересоль».

Берил, сидя на окне, обмахивая веером свежeweымытые волосы, решила, что такого чучела она еще не видела. Если б только Элис перед выходом вымазала лицо жженой пробкой, картина стала бы полной. И куда такая девушка как Элис могла пойти в таком месте? Веер с Фиджи в форме сердца насмешливо обмахивал красивую чистую гриву. Берил думала, что Элис подцепила какого-то ужасного грубого хулигана, и они уйдут в буш вдвоем. Жаль, что она так броско оделась; нелегко им вместе с Элис будет спрятаться в этом наряде.

Но нет, Берил была несправедлива. Элис собиралась пить чай с миссис Стаббс, которая прислала ей «приглашение» с мальчиком-посыльным. Она очень полюбила миссис Стаббс, с тех пор как впервые пришла в магазин за средством от москитов. «Боже мой!» Миссис Стаббс хлопнула себя рукой по боку. «Ни в жизнь не видела, чтоб кого-то так объели. Все равно что на вас напали конебалы».

Тем не менее, Элис очень хотелось, чтоб путь был более оживленным. Ей стало нехорошо оттого, что позади нее никого не было. Чувствовалась слабость во всем позвоночнике. Ей не верилось, что никто за ней не следил. И все же оборачиваться

было глупо; она бы выдала себя. Элис подтянула перчатки, спела про себя, и сказала дальнему эвкалипту: «Уже недалеко». Но разве это компания.

Магазин миссис Стаббс был построен на маленьком холме прямо у дороги. Два больших окна заменяли глаза, широкая веранда была вместо шляпы, и вывеска на крыше—каракули МАГАЗИН МИССИС СТАББС—была как карточка, небрежно вклеенная в туюлю шляпы.

На веранде висел длинный ряд купальных платьев, липнущих друг к другу, словно их только что избавили от моря, совсем не желающих плавать, и тут же висел ком пляжных туфель, так причудливо перемешанных, что составить пару можно было, только оторвав и силой разделив по меньшей мере пятьдесят. И все равно найти левую пару для правой можно было крайне редко. Очень многие потеряли терпение и ушли с одной туфлей, что была впору, и с другой, что была чуть велика... Миссис Стаббс гордилась тем, что хранила всего понемногу. В двух окнах, построенных в форме шатких пирамид, было так тесно набито, так высоко навалено, что, казалось, только фокусник мог спасти их от крушения.

В левом углу одного окна, приклеенное к раме четырьмя желатиновыми пастилками, было—и пребывало там с незапамятных времен—объявление.

**УТЕРЯНА! КРАСИВАЯ ДОЛОТАЯ БРОШЬ, ЧИСТОЕ ЗОЛОТО, НА ПЛЯЖЕ ИЛИ РЯДОМ НАШЕДШЕГО ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

Элис с усилием открыла дверь. Звякнул колокольчик, раскрылись красные саржевые шторы, и появилась миссис Стаббс. Широко улыбаясь, с длинным мясным ножом в руке она походила на дружелюбного разбойника. Элис так тепло встретили, что ей было весьма затруднительно соблюдать «манеры». Они состояли

из постоянных кашлей и хм!, подтягивания перчаток, одергивания юбки, и любопытной неспособности видеть что-либо перед собой или понимать разговор.

Чай был накрыт на столе в гостиной: ветчина, сардины, целый фунт масла и лепешка, такая большая, будто с рекламы чьего-то пекарского порошка. Но примус гудел так громко, что было бесполезно пытаться его перекричать. Элис присела на край проволочного стула, пока миссис Стаббс раздувала примус все жарче. Вдруг миссис Стаббс смахнула подушку со стула и обнаружила большой пакет из коричневой бумаги.

«Я только что сделала несколько новых фотов, дорогая»,— весело прокричала она, обращаясь к Элис. «Скажи мне, как они тебе покажутся».

Очень грациозно и изящно Элис послонила палец и отвернула папиросную бумагу с первого. Надо же! Как их было много! Их было не меньше трех дюжын. И она поднесла фото к свету. Миссис Стаббс сидела в кресле, сильно наклонившись набок. Ее большое лицо выражало легкое удивление, и понятно почему. Хотя кресло и стояло на ковре, слева от него, чудом огибая кромку ковра, был бурный водопад. Справа стояла греческая колонна с гигантским папоротником по обеим сторонам, и на фоне возвышалась мрачная гора, бледная от снега.

«Симпатичный стиль, не правда ли?»—прокричала миссис Стаббс; и как только Элис выкрикнула «Очаровательно», гул примуса потух, пропал, прекратился, и она сказала «Мило» в пугающей тишине.

«Придвинь свой стул, дорогая»,—сказала миссис Стаббс, разливая чай. «Да,—задумчиво произнесла она, передавая чашку: но размер для меня не важен. Я их увеличиваю. Это

хорошо для рождественских открыток, но сама я никогда не любила маленьких фотов. От них не получаешь никакого удовольствия. Честно говоря, я нахожу, что они нагоняют песку».

Элис ее полностью понимала.

«Размер»,—сказала миссис Стаббс. «Дайте мне размер. Вот так всегда говорил мой бедный милый муж. Он не терпел ничего мелкого. Его с души воротило».

И как это ни странно, дорогая,—здесь миссис Стаббс скрипнула и, казалось, вспоминая, стала откровеннее: водянка свела его в могилу в конце копцов.

Много раз они выкачивали по полторы пинты из ево в бальнице... Казалось, это приговор свыше».

Элис сгорала желанием узнать, что же из него выкачивали. Она отважилась: «Я полагаю, это была вода».

Но миссис Стаббс припечатала Элис взглядом и значительно ответила: «Это была жидкость, дорогая».

Жидкость! Элис как кошка отскочила от слова и вернулась, пригнувшись и начеку.

«Это уон!»—сказала миссис Стаббс и театрально указала на фото один к одному: голова и плечи плотного мужчины с увядшей белой розой в петлице пальто, что напоминала колечко холодного бараньего жира. Прямо под ним серебряными буквами по красному картону было написано: «Не бойся, это я».

«Такое приятное лицо»,—тихо произнесла Элис. Бледно-голубой бант на макушке светлых вьющихся волос миссис Стаббс задрожал. Она выгнула пухлую шею.



Какая же у нее шея! Там, где она начиналась, цвет был яркорозовым, затем становился теплым абрикосовым, который переходил в цвет коричневого яйца и дальше – густых сливок.

«Все равно, дорогая,—неожиданно сказала она: свобода лучше всего!» Ее мягкий, жирный смех звучал как мурлыканье кошки. «Свобода лучше всего»,—повторила миссис Стаббс. Свобода! Элис громко, глупо, мелко захихикала. Она была смущена. Ее мысли перенеслись к своей работе в куфне. Так странно! Она хотела вернуться туда.

### Глава 1.9.

Странная компания собралась в прачечной Бёрнеллов после чая. За столом сидели: бык, петух, осел, который все время забывал, что он осел, баран и пчела. Прачечная была наилучшим местом для такого собрания, потому что они могли шуметь сколько душе угодно, и никто никогда не мешал. Это был жестяной сарайчик, стоявший отдельно от бунгало. К стене было приставлено большое корыто, а в углу был котел с корзиной прищепок на нем. У затянутого паутиной окошка на пыльном подоконнике лежал кусок свечки и мышеловка. Бельевые веревки перекрещивались над головой, и на стенном крюке висела очень большая, огромная ржавая подкова. Посередине стоял стол со скамьями с двух сторон.

«Ты не можешь быть пчелой, Кеция. Пчела—не животное. Это насекомое».

«Ах, но я ужасно хочу быть пчелой»,—ныла Кеция... Маленькая пчелка, вся желто-мохнатая, лапки в полоску. Подобрал ноги под себя, она облокотилась на стол. Она была прирожденной пчелой.

«Насекое должно быть животным»,—уверенно сказала она. «Оно жужжит. Это не рыба».

«Я бык, я бык!»—крикнул Пип. И он издал такой ужасный рев—как он это сделал?—что Лотти с виду совсем испугалась.

«Я буду барашком»,—сказал малыш Регс. «Целая уйма овец прошла утром».

«Почем ты знаешь?»

«Папа их слышал. Бее!» Он блял как ягненок, что плетется позади и ждет, чтобы его понесли.

«Кукареку!»—взвизгнула Изабель. Красные щеки и ясные глаза делали ее похожей на петуха.

«Кем буду я?»—Лотти спрашивала каждого и сидела улыбаясь, ожидая, пока они за нее решат. Нужно было что-то простое.

«Будь осликом, Лотти». Это посоветовала Кеция. «И-а! Такое ты не забудешь».

«И-а!»—торжественно повторила Лотти. «Когда мне нужно это говорить?»

«Я объясню, я объясню»,—сказал бык. Это у него были карты. Он помахал ими над головой. «Всем тихо! Слушайте все!» Он ждал тишины. «Смотри, Лотти». Он открыл карту. «Здесь два очка—видишь? Теперь, если положишь карту в колоду и у кого-то будет карта на два очка, ты скажешь «И-а»—и карта твоя».

«Моя?» У Лотти округлились глаза. «Насовсем?»

«Нет, глупая. На время игры, понимаешь? Только пока мы играем». Бык был очень сердит на нее.

«Ах, Лотти, ты такая глупышка»,—сказал гордый петух. Лотти посмотрела на них обоих. Затем она понурила голову; ее губы дрогнули. «Я не хочу играть»,—прошептала она. Остальные заговорщически переглянулись. Все знали, что это значило. Она уйдет, и ее найдут где-нибудь стоящей с передником на голове в углу, или у стенки, или даже за стулом.

«Нет, ты хочешь, Лотти. Это совсем просто»,—сказала Кеция.

И Изабель, раскаиваясь, сказала в точности как взрослая: «Смотри на меня, Лотти, и ты скоро научишься».

«Выше нос, Лот»,—сказал Пип. «Давай, я знаю что нужно. Я дам тебе первую карту. Она вообще-то моя, но ее я отдам тебе. Держи». И он хлопнул картой по столу прямо перед Лотти.

Лотти это приободрило. Но тут появилась другая напасть. «У меня платка нет,—сказала она: мне еще платок очень нужен».

«Вот, Лотти, возьми мой». Регс порылся в своей матросской блузе и вытащил очень мокрый платок, завязанный узлом. «Только очень осторожно»,—предупредил он ее. «Сморкайся только в этот край. Не развяжи его. У меня внутри морская звездочка, попытаюсь ее приручить».

«Ох, девчонки, ну давайте»,—сказал бык. «И помните—на свои карты не смотреть. Руки нужно держать под столом, пока я не скажу «Можно»».

Всем поровну раздали карты. Они старались всеми силами подсмотреть, но Пип был быстрее их всех. Сидеть здесь, в прачечной, было очень весело; пока Пип вел раздачу, они едва

удерживались, чтобы не начать маленький хор животных.

«Так, Лотти, ты начинай».

Лотти робко протянула руку, взяла верхнюю карту из своей колоды, хорошенько ее изучила—она явно считала очки—и убрала.

«Нет, Лотти, так делать нельзя. Нельзя сначала смотреть. Ты должна положить ее другой стороной».

«Но тогда все увидят ее в одно время со мной»,—сказала Лотти.

Игра продолжалась. Мууэ-ооо-э! Бык был страшен. Он заправлял игрой и, казалось, съел все карты.

Жжж-уу!—сказала пчела.

Ку-ка-ре-ку! Изабель от волнения встала и махала локтями, как крыльями.

Бее! Малыш Регс положил Алмазного Короля, а Лотти положила карту, что они называли Испанским Королем. У нее почти не осталось карт.

«Почему ты не кричишь, Лотти?»

«Я забыла, кто я»,—горестно промолвил ослик.

«Так поменяйся! Будь взамен собакой! Гав-гав!»

«Ах, да. Это намного легче». Лотти снова улыбнулась. А когда у них выпало по одному, Кеция нарочно ждала. Остальные делали Лотти знаки и намекали. Лотти сильно покраснела; она была

сбита с толку, и, наконец, сказала: «И-а! Кеция».

«Шш! Погодите минутку! Игра была в самом разгаре, когда бык остановил их, подняв руку. «Что это? Что это за шум?»»

«Какой шум? О чем это ты?»—спросил петух.

«Шш! Молчите! Слушайте!» Они молчали как мышки. «Мне показалось, я слышал вроде—вроде стук какой-то»,—сказал бык.

«Что за стук?»—тихо спросил барашек.

Нет ответа.

Пчела вздрогнула. «Зачем же мы закрыли дверь?»—сказала она кротко. Ах, зачем, зачем они закрыли дверь?

Пока они играли, день погас; великолепный закат разгорелся и потух. И теперь быстрая тьма набежала на море, на дюны, на весь выгон. Страшно было глянуть в углы прачечной, и все же приходилось смотреть изо всех сил. А где-то, очень далеко, бабушка зажигала лампу. Задергивали шторы; огонь из кухни прыгал по олову на каминной полке.

«Если б сейчас,—проговорил бык: паук упал с потолка на стол, вот нагнал бы страху!»

«Пауки с потолков не падают».

«А вот и падают. Наша Мин говорила, что видела паука размером с блюдце, с длинными ворсинками, как на крыжовнике».

Тотчас все головки вскинулись; все маленькие тела сгрудились, прижались друг к другу.

«Почему никто не идет и не зовет нас?»—вскричал петух.

Ох уж эти взрослые, веселые и милые, сидящие при свете ламп, пьющие из чашек! Они забыли о них. Нет, не совсем забыли. Потому и веселы. Они решили оставить их здесь совсем одних.

Вдруг Лотти так пронзительно взвизгнула, что все вскочили со скамеек, все вместе закричали. «Лицо—смотрит лицо!»—разрывалась Лотти.

Это была правда, оно действительно было. К окну прижалось бледное лицо, черные глаза, черная борода.

«Бабушка! Мама! Кто-нибудь!»

Но они даже не добрались до двери, спотыкаясь друг о друга, как ее открыл дядя Джонатан. Он пришел забрать мальчиков домой.

## Глава 1.10.

Он думал прийти туда раньше, но наткнулся в палисаднике на Линду, что гуляла по траве тут и там: то вырвет увядший цветок, то подопрет тяжелую головку гвоздики, то вдруг вдохнет какой-то запах и снова пойдет дальше, как всегда немного задумчива. Поверх белого платья желтая с розовой бахромой шаль из китайской лавки.

«Эй, Джонатан!»—позвала Линда. И Джонатан стащил потертую панаму, прижал ее к груди, упал на колени и поцеловал руку Линды.

«Приветствую, Красавица! Приветствую, небесный Цвет персика!»—мягко пророкотал бас. «Где остальные благородные

дамы?»

«Берил ушла играть в бридж, а мама купает мальчика... Ты пришел за чем-нибудь?»

У Траутов вечно что-нибудь заканчивалось, и посылали прямо к Бёрнеллам в последний миг.

Но Джонатан ответил только: «Чуть-чуть любви, чуть-чуть доброты»,—и пошел рядом со свояченицей.

Линда опустилась в гамак Берил под деревом мануки, и Джонатан растянулся на траве рядом с ней, выдернул длинный стебель и стал жевать. Они хорошо друг друга знали. Из чужих садов вопили детские голоса. Легкая рыбацкая телега тряслась на песчаном пути, и издали они слышали собачий лай; глухой, будто голова собаки была в мешке. Если прислушаться, был едва слышен мягкий шелест прилива, сносящего гальку. Заходило солнце.

«Итак, ты ведь в понедельник возвращаешься в контору, Джонатан?»—спросила Линда.

«В понедельник дверь клетки распахнется и захлопнется за жертвой на еще одиннадцать месяцев с неделей»,—ответил Джонатан.

Линда покачалась. «Должно быть, ужасно»,—медленно проговорила она.

«Желаете смеха, прекрасная сестрица? Желаете слез?»

Линда так привыкла к манере Джонатана говорить, что не

обращала на это внимания.

«Думаю,— сказала она неуверенно: к этому привыкаешь. Человек ко всему привыкает».

«Неужели? Кхем!» Это «Кхем» пророкотало так густо, будто из-под земли. «Желал бы я знать, как это делается,—размышлял Джонатан: мне это никогда не удавалось».

Глядя, как он лежит на траве, Линда вновь подумала, как он красив. Странно подумать, что он был лишь простым служащим, что Стенли зарабатывал вдвое больше его. Что случилось с Джонатаном?

У него не было цели; она думала, дело в этом. И все же его считали одаренным, необычным. Он страстно любил музыку; каждый лишний пенни уходил на книги. Он был вечно полон новых идей, проектов, планов. Но все было впустую. Джонатан горел новой идеей; от него почти летели искры, когда он объяснял, описывал и обсуждал новый пунктик; но минуту спустя огонь потухал, и оставался только пепел, а Джонатан ходил, как голодный, и сверкал черными глазами. В такие моменты он говорил преувеличенно абсурдно, и пел в церкви— он был запевалой в хоре—с такой ужасной волнующей силой, что ничтожнейший гимн обретал дьявольский блеск.

«Обязанность ехать в контору в понедельник,—сказал Джонатан: мне кажется столь же идиотской, столь же бесчеловечной, каким всегда был и всегда будет ее результат. Провести лучшие годы своей жизни, сидя на стуле с девяти до пяти, царапая в чужих гроссбухах! Странное употребление для своей... одной-единственной жизни, не находишь? Или я наивный мечтатель?» Он перевернулся на траве и взглянул вверх на Линду. «Скажи, в чем разница между моей жизнью и жизнью рядового

заклученного? Единственную разницу я вижу в том, что себя в тюрьму упрятал я сам, и никто никогда не освободит меня. Это невыносимое положение, хуже, чем у заключенного. Ибо если б меня втолкнули туда против воли—даже силой—чуть закрылась дверь или, во всяком случае, через пять лет или около того, возможно, я бы смирился с фактом и начал бы интересоваться полетами мух или считать шаги охранника в коридоре с особым вниманием к перемене походки и так далее.

А пока я словно насекомое, что добровольно влетело в комнату. Я бьюсь о стены, бьюсь в окна, хлопаю крыльями по потолку, по сути, делаю все возможное в Божьем мире, но не лечу наружу. И все это время я думаю, как тот мотылек, или эта бабочка, или кто бы там ни был: «Жизнь коротка! Жизнь коротка!» У меня всего одна ночь или один день, и передо мной бескрайний опасный сад, он там и ждет, неизведанный, неизученный».

«Но раз ты так чувствуешь, зачем»,—быстро начала Линда.

«Ах!»—вскричал Джонатан. И это «ах!» почему-то было почти ликующим. «Здесь ты меня поймала. Зачем? Действительно, зачем? Вот безумный, загадочный вопрос. Почему бы мне не вылететь на волю? Есть окно или дверь, что бы там ни было, через что я сюда влетел. Оно ведь не безнадежно заперто—ведь так? Почему бы мне не найти его и не улететь? Ответь мне на это, сестричка». Но он не дал ей времени ответить.

«Я снова в точности как это насекомое. По какой-то причине,—Джонатан сделал паузу между словами: не разрешается, запрещено, противно закону насекомых даже на мгновение перестать трепыхаться, биться и карабкаться по стеклу. Почему я не оставляю работу? Почему я не обдумаю серьезно, в эту минуту, например, что не дает мне уйти? Не то чтобы я был страшно связан. У меня два сына на шее, но в конце концов они мальчишки.

Я бы мог убежать в море, или найти работу в провинции, или—» Внезапно он улыбнулся Линде и сказал другим тоном, как будто делился секретом: «Слаб... слаб. Нет выдержки. Нет опоры. Нет ориентира, скажем так». Но затем глухой бархатный голос пропел:

*«Послушайте вы эту повесть*

*Как она несется вдаль...»*

и они замолчали.

Солнце село. В западном небе скопились клубы рваных розовоцветных туч. Широкие лучи света сияли сквозь тучи и выше, будто собрались покрыть все небо. Над головой выцветала синь; она стала бледно-золотой, и кромка буша на ее фоне мерцала тьмой и блеском, как металл. Подчас, когда эти лучи света появляются на небе, они весьма неприятны. Они напоминают, что там сидит Игова, Бог-ревнитель, Всемогущий, и Его глаз следит за тобой без отдыху и сроку. Вспоминаешь, что придет Он, и вся земля дрогнет и станет кладбищем в руинах; холодные, чистые ангелы поведут туда и сюда, и не будет времени объяснить то, что объяснялось так просто... Но сегодня вечером в тех серебряных лучах Линде чудилось нечто бесконечно радостное и любящее. И сейчас в море было тихо. Оно еле дышало, будто желая увлечь эту нежную, радостную красоту в пучину.

«Все не так, все не так»,—послышался нетвердый голос Джонатана. «Дело не в месте, не в декорациях для... три табурета, три стола, три чернильницы и железная решетка».

Линда знала, что он никогда не переменится, но сказала:

«Неужели слишком поздно, даже теперь?»

«Я стар—я стар»,—пропел Джонатан. Он склонился к ней, провел рукой по волосам. «Смотри!» Его черные волосы были

сплошь усыпаны серебром, как плюмаж на грудке черной птицы.

Линда поразились. Она не замечала, что он поседел. И еще, когда он встал рядом с ней, вздохнул и потянулся, она увидела его, впервые, не решительным, не галантным, не бесшабашным, но уже тронутым временем. Он выглядел очень высоким в темнеющей траве, и в ее голове пробежала мысль: «Он похож на растение».

Джонатан снова нагнулся и поцеловал ее пальцы.

«Небо да воздаст тебе за терпение, моя милая госпожа»,— пробормотал он. «Я должен идти искать наследников моей славы и богатства...» Он ушел.

### Глава 1.11.

В окнах бунгало горел свет. Два золотых квадрата падали на гвоздики и острые ногти. Кошка Флорри вышла на веранду и уселась на верхней ступеньке, белые лапки прижаты друг к другу, хвост обвит кругом. Она казалась довольной, будто ждала этой минуты весь день.

«Наконец-то, темнеет»,— сказала Флорри. «Наконец-то, долгий день прошел». Ее, как зеленая слива, глаза открылись.

Немного погода послышался грохот экипажа, свист хлыста Келли. Он подъехал так близко, что были слышны голоса горожан, громко говорящих разом. У ворот Бёрнеллов он остановился.

Стенли прошел полтропинки, прежде чем увидел Линду. «Это ты, дорогая?»

«Да, Стенли».

Он прыгнул через клумбу и схватил ее в охапку. Ее окутали знакомые, страстные, сильные объятия.

«Прости меня, дорогая, прости меня»,—бормотал Стенли, и он взял ее рукой за подбородок и поднял ее лицо вверх.

«Простить тебя?»—улыбнулась Линда. «Но за что же?»

«Боже правый! Как ты могла забыть!»—вскричал Стенли Бёрнелл. «Я весь день ни о чем другом и не думал. У меня выдался адский денек. Я решил бежать послать телеграмму, но потом подумал, что приеду к тебе раньше нее. Я мучался, Линда».

«Но, Стенли,—сказала Линда: за что я должна тебя простить?»

«Линда!—Стенли был очень задет: разве ты не поняла—ты должна была понять— утром я уехал, не попрощавшись с тобой? Я не представляю, как мог так поступить. Мой дурной характер, конечно. Но—что ж»,—и он вздохнул и снова обнял ее: «Я довольно вынес за это сегодня».

«Что это у тебя в руке?»—спросила Линда. «Новые перчатки? Дай посмотреть».

«Ах, всего лишь дешевая замшевая пара»,—скромно сказал Стенли. «Утром в карете я заметил, что Белл их носит, и когда я шел мимо магазина, я забежал и купил пару себе. Чему ты улыбаешься? Ты же не считаешь, что я поступил неправильно, так?»

«Напротив, дорогой,—возразила Линда: я думаю, это было очень разумно».

Она натянула большую, бледную перчатку на свои пальцы и смотрела на руку, вертя ее так и сяк. Она все еще улыбалась. Стенли хотел сказать: «Я думал о тебе все время, пока их покупал». Это была правда, но почему-то он не мог этого выговорить. «Пойдем в дом»,—сказал он.

### Глава 1.12.

Почему ночью чувствуешь себя совсем иначе? Почему так волнительно бодрствовать, когда все остальные спят? Поздно—очень поздно! И все же с каждой минутой все меньше хочется спать, будто ты медленно, почти с каждым вдохом, пробуждаешься в новом, чудесном, куда более увлекательном и волнующем мире, чем днем. И что это за странное чувство, будто ты заговорщик? Легко, как тать, проходишь по комнате. Берешь что-нибудь с туалетного столика и без звука кладешь на место. И все, даже столбик кровати, тебя знает, отвечает, разделяет твою тайну...

Днем ты не слишком любишь свою комнату. Никогда о ней не думаешь. Входишь и выходишь, дверь открывается и хлопает, скрипит комод. Садись на край кровати, меняешь туфли и снова бежишь вон. Прыжок к зеркалу, две шпильки в волосы, пудришь нос и снова прочь. Но теперь—она вдруг тебе дорога. Это милая, забавная комнатка. Она твоя. Ах, какая радость иметь свои вещи! Моя—моя собственная!

«Моя и только моя навсегда?»

«Да»,—их губы встретились.

Нет, конечно, это здесь совсем не при чем. Все это вздор и чепуха. Но против своей воли посреди комнаты Берил ясно видела пару. Ее руки обвили его шею; он обнимал ее.

И тут он прошептал: «Моя красавица, моя любимая красавица!» Она спрыгнула с кровати, подбежала к окну и встала коленом на скамью, локти на подоконнике. Но прекрасная ночь, сад, каждый куст, каждый лист, даже белые ограды, даже звезды, тоже были в заговоре. Так сияла луна, что цветы были ярки, как днем; тень от настурций, изящных, как у лилии, листьев и распахнутых цветов, легла поперек серебристой веранды. Дерево мануки согнуло южные ветры, казалось, птица на одной ноге поднимает крыло.

Но когда Берил взглянула на буш, ей показалось, что буш грустил.

«Мы немые деревья, по ночам мы растем, умоляем, сами не знаем о чем»,—произнес печальный буш.

И правда, когда ты один и думаешь о жизни, всегда грустно. Все это веселье и так далее как-то вдруг покидает тебя, и это как будто, в тишине, кто-то крикнул твое имя, и ты услышала свое имя впервые. «Берил!»

«Да, я здесь. Я Берил. Кто меня ищет?»

«Берил!»

«Позволь мне войти».

Одиноко жить одной. Конечно, есть семья, друзья, куча друзей; но не об этом она думает. Ей нужен тот, кто найдет никому не известную Берил, кто будет думать, что Берил такая всегда. Ей нужен возлюбленный.

«Увези меня прочь от всей этой толпы, любимый. Убежим далеко. Проживем нашу жизнь, совсем новую, только нашу, с самого начала. Разожжем наш огонь. Сядем вместе за стол. Будем долго говорить по ночам».

И она думала почти так: «Спаси меня, любимый. Спаси меня!»

... «Ах, полно! Не будь ханжой, дорогая. Развлекайся, пока ты молода. Вот тебе мой совет». И взрыв высокого, глупого смеха слился с громким, безразличным ржанием миссис Гарри Кембер.

Видишь ли, все так ужасно трудно, когда у тебя никого нет. Ты так зависишь от обстоятельств. Нельзя просто так нагрубить. И всегда страшно показаться неопытной и скучной, как остальные дуручки в Заливе. И—и еще приятно знать, что ты имеешь власть над людьми. Да, это приятно...

Ах, почему, ну почему «он» все не приходит?

Если я еще здесь поживу, подумала Берил, со мной все что угодно может случиться.

«А почему тебе знать, придет он или нет?»—глумился голосок внутри нее.

Но Берил прогнала его. Она не могла остаться одна. Кто-то другой, может быть, но не она. Нельзя и подумать, что Берил Фейрфилд никогда не выйдет замуж, эта милая приятная девушка.

«Вы помните Берил Фейрфилд?»

«Помню ли я! Как если б я мог ее забыть! Я увидел ее однажды летом у Залива. Она стояла на пляже в голубом,—нет, розовом: муслиновом платье, придерживая большую кремовую,—нет,

черную: соломенную шляпу. Но это было много лет тому назад».

«Она хороша, как прежде, пожалуй, даже лучше».

Берил улыбнулась, прикусила губу и обвела взглядом сад. В это время она увидела, как кто-то, мужчина, сошел с дороги, зашагал по выгону вдоль их заборов, как будто шел прямо к ней. Ее сердце забилося. Кто это был? Кто это мог быть? Это не был вор, наверняка не вор, потому что он курил и шел не спеша. Сердце Берил подпрыгнуло; казалось, оно перевернулось, а затем замерло. Она его узнала.

«Добрый вечер, мисс Берил»,—мягко сказал голос.

«Добрый вечер».

«Не выйдете немного погулять?»—он растягивал слова.

Выйти погулять—в такое позднее время! «Я не могу. Все в своих постелях. Все спят».

«Ох»,—весело сказал голос, и она уловила запах сладкого дыма.

«При чем здесь все? Прошу, выходите! Ночь просто чудесная.

Вокруг ни души».

Берил покачала головой. Но нечто уже шевельнулось в ней, нечто подняло голову.

Голос сказал: «Боитесь?» Он глумился: «Бедная малышка!»

«Ничуть»,—возразила она. И только она это сказала, слабое нечто внутри нее словно развернулось, вдруг стало чудовищно сильным; ей хотелось пойти!



И точно как если бы он это понял, голос сказал, ласково и мягко, но решительно: «Идемте!»

Берил выбралась через низкое окно, пересекла веранду, по траве побежала к калитке. Он стоял там перед ней.

«Так-то лучше,—прошептал голос и поддразнил: вы ведь не боитесь, так? Вы не боитесь?»

Она боялась; теперь, когда она вышла, ей стало страшно, и ей все казалось другим. Лунный свет безучастно сверкал; тени походили на железные прутья. Ее взяли за руку.

«Ничуть»,—беспечно сказала она. «Чего мне бояться?»

Ее руку мягко потянули, дернули. Она стояла на месте.

«Нет, дальше я не пойду»,—заявила Берил.

«Ох, черт!» Гарри Кембер ей не поверил. «Ну давай! Мы просто дойдем до того куста фуксии. Ну давай же!»

Куст фуксии был высоким. Он упал через забор во время ливня. Под ним была темная ямка.

«Нет, правда, мне не хочется»,—сказала Берил. Минуту Гарри Кембер не отвечал. Затем он подошел вплотную, повернулся к ней, улыбнулся и быстро сказал: «Не глупи! Не глупи!»

Его улыбки она никогда раньше не видела. Он был пьян? От этой яркой, слепой, страшной улыбки ее сковал страх. Что она делала? Как она здесь оказалась? спросил ее суровый сад, когда калитка отворилась, и, быстрый как кот, Гарри Кембер прошел и прижал

ее к себе.

«Холодная чертовка! Холодная чертовка!»—говорил отвратительный голос.

Но Берил была сильной. Она скользнула, нырнула, выкрутилась на свободу.

«Вы подлый, подлый»,—проговорила она.

«Ради бога, так зачем же вы вышли?»—запинаясь, пробормотал Гарри Кембер.

Ему никто не ответил.

### Глава 1.13

Небольшое, безмятежное облако проплыло перед луной. В ту темную минуту море звучало глубоко, тревожно. Затем облако уплыло прочь, и звук моря стал неясным ропотом, будто оно просыпалось от плохого сна. Все было тихо.